

Айгюн Алиева

УКРАДЕННОЕ ВРЕМЯ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
МЕМУАРЫ



ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕМУАРЫ
БОРЬБЫ ЗА ПРАВА МАТЕРИ И РЕБЕНКА В НОРВЕГИИ

Айгюн Алиева
Украденное время

«Автор»

2026

Алиева А.

Украденное время / А. Алиева — «Автор», 2026

«Украденное время» — это документальные мемуары Айгюн Алиевой, в которых она описывает свою многолетнюю борьбу за право быть матерью своего сына Уильяма в Норвегии. Книга представляет собой откровенное свидетельство столкновения человека с норвежской системой защиты детей (Barnevernet), где из-за языковых барьеров, юридических ловушек и институциональной предвзятости жизнь автора была разрушена, а общение с сыном ограничено шестнадцатью часами в год. Автор подробно анализирует работу бюрократической «машины», которая патологизировала её материнские чувства и использовала «набор инструментов» психологических оценок для оправдания разлуки. Это история о «резидентурной ловушке», приведшей к изгнанию из страны, и о несгибаемой воле матери, которая, несмотря на закрытые границы и годы молчания, продолжает бороться за своего ребенка, утверждая, что «любовь — это единственный неподвижный факт» в её истории.

© Алиева А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	7
Его тяжесть	8
Норвежец из интернета	9
Турция и рождение любви	12
Свадьба, которой почти не было	15
Норвегия	17
Язык власти	19
Уильям	22
Больница в Хёугесунне	24
Первое дело	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Айгюн Алиева

Украденное время

*Уильяму — моему солнцу в каждый тёмный день.
И каждой матери, которую заставили почувствовать себя чужой собственному ребёнку.*

«Самый смелый поступок — по-прежнему думать самостоятельно. Вслух.»

— Коко Шанель

«Легче воспитать крепких детей, чем чинить сломленных взрослых.»

— Фредерик Дугласс

«Мой сын — солнце в моей жизни. Я хочу, чтобы он остался в ней.»

— Алия, из личного дневника, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

От автора

Пролог. Его тяжесть

ЧАСТЬ I · Встреча и брак

1. Норвежец из интернета
2. Турция и рождение любви
3. Свадьба, которой почти не было
4. Норвегия
5. Язык власти

ЧАСТЬ II · Материнство

6. Уильям
7. Больница в Хёугесунне
8. Первое дело
9. Машина «защиты»

ЧАСТЬ III · Разлука

10. Жизнь в доме свёкров
11. Бумага, которую мне не следовало подписывать
12. Изгнание внутри Норвегии
13. Выживание

ЧАСТЬ IV · Судебные тяжбы

14. Подготовка защиты
15. Психолог Анита и «набор инструментов»
16. Под наблюдением
17. Решение районного суда
18. Похищение, которого не было
19. День первого решения
20. Апелляция
21. Что сказал апелляционный суд
22. Суд, давший нам имя

23. Вторая апелляция

ЧАСТЬ V · Изгнание и молчание

24. Граница в Арланде

25. Потеря страны

26. Уильям по ту сторону экрана

27. Тирана

28. Двери, что снова закрылись

ЧАСТЬ VI · Размышления и борьба

29. Система за системой

30. Раса, религия и вопрос о «норме»

31. Чем правосудие обязано

32. Кем я стала

Эпилог. Неукрощённая

Благодарности

О источниках и норвежском праве

От автора

Эта книга — правда. Каждое её слово.

Годами мне твердили, что я неуравновешенна. Что я страдаю паранойей. Что я опасна для собственного ребёнка — ребёнка, которого я выносила в своём теле, родила без должного обезболивания и вскормила грудью сквозь боль, длившуюся месяцы. Мне говорили это люди с дипломами и должностями, в кабинетах с государственными гербами на стенах, на языке, которого я тогда ещё толком не понимала. И долгое время — к своему стыду признаюсь — часть меня им верила.

Я пишу эту книгу потому, что молчание — самый жестокий приговор, какой только может вынести система. Норвежские суды отнимали детство моего сына у меня по частям — два часа здесь, три часа там, и всегда под надзором, всегда по чужому усмотрению, — пока от наших с ним отношений не осталось шестнадцать часов в год. Шестнадцать часов, чтобы быть матерью.

Это не книга о ненависти к Норвегии. Я встречала великодушных и порядочных норвежцев, вернувших мне веру в человеческую природу. Это книга о том, что происходит, когда подводят институты — когда бюрократическая машина решает, кто ты, ещё не узнав тебя, и затем тратит годы на то, чтобы доказать собственную правоту.

Некоторые имена я изменила. Но судебные документы, медицинские заключения и материалы дела, которые я цитирую, подлинны. Я перепроверяла их множество раз. События переданы так, как я их пережила, — насколько мне позволяют память и записи, которые мне дозволено было сохранить.

Я пишу это потому, что однажды мой сын вырастет и начнёт задавать вопросы. И я хочу, чтобы ответы уже были здесь — честные и полные, ждущие его.

Я пишу это ещё и для каждой женщины, что сидела в комнате, полной чужих людей, решавших её судьбу на языке, которого она не знает, и гадала, не привиделось ли ей то, что с ней сделали. Нет, тебе не привиделось. И ты была не одна.

Алия. Баку, 2024 год

ПРОЛОГ

Его тяжесть

Хёугесунн, Норвегия. 2 декабря 2015 года. Час ночи.

Я помню точную тяжесть его тела у себя на руках.

Был час ночи, может быть, позже, когда мой сын явился в мир. В родильной палате стояла та особая тишина места, повидавшего слишком много и переставшего чему-либо удивляться, — мерцающий свет, усталость в самих стенах. Я дрожала: от холода, от изнеможения, от страха, которому ещё не знала названия.

Его обтёрли. И вложили мне в руки.

И дрожь прекратилась.

Он был крошечным — невозможно, до боли крошечным — и тёплым той теплотой, какой бывает только новая жизнь, изнутри наружу. У него были бледные, внимательные глаза отца и что-то в линии подбородка, что принадлежало только мне. Я смотрела на него и понимала, что никогда не видела ничего более совершенного.

«Мой маленький пират», — прошептала я.

От него пахло чем-то, чему я не могла подобрать имени, — сладким, чуть металлическим, древним. Я прижалась губами к его лбу, тёплому и невозможно мягкому, и впервые с приезда в Норвегию почувствовала, что я на своём месте. Я была его матерью. Это было просто. Это было всё.

Я не знала тогда, что через восемь недель сына заберут из-под моей опеки.

Я не знала, что через два года суд позволит мне видеться с ним шестнадцать часов за целый год.

Я не знала, что психолог, наблюдавший меня всего несколько месяцев, напишет в заключении, поданном в суд, что я «незрелая, эгоцентричная, упрямая и сосредоточенная на себе».

Я не знала, что система, созданная для защиты детей, будет с тихой бюрократической исправностью использована для того, чтобы разлучить ребёнка с единственным человеком, готовым ради него на всё.

Теперь я знаю всё это.

Это история о том, как я к этому пришла. Как я это пережила. И как, переживая, узнала кое-что о любви, о системах и об особой жестокости институтов, считающих себя добрыми.

Она начинается, как начинаются столь многие истории об утрате, — с надежды.

ЧАСТЬ I

Встреча и брак

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Норвежец из интернета

Баку, Азербайджан — 2012 год

Субботний день в квартире моих родителей в Баку. Каспийское море видно из окна, если встать под нужным углом. У моей подруги Севды есть план.

Мне было двадцать три, когда Севда заявила, что мне непременно нужно зайти на сайт знакомств, и моей первой реакцией было что-то среднее между весельем и вежливым презрением.

Я родилась и выросла в Баку, столице Азербайджана, — городе, выстроенном на противоречиях, зажатом между Каспием и Апшеронским полуостровом, между древним камнем и сталью со стеклом, между нефтяной экономикой, сделавшей горстку людей баснословно богатыми, и старыми кварталами, где до сих пор живут в домах старше самой независимости. Я была образованна. У меня была профессия. У меня имелось мнение почти обо всём, и я не особенно стеснялась его высказывать. И при этом, вопреки годам, во мне жила романтическая жилка, которую я по большей части прятала, — ведь романтизм в городе, где я росла, считался разновидностью наивности.

Втайне, упрямо, наивно я была романтиком.

Севда это знала. Севда знала обо мне всё. Она была из тех женщин, что наделены особым даром читать чужую внутреннюю погоду, и дружила со мной достаточно давно, чтобы понимать: под независимостью и резкими суждениями скрывается та, что тихо ждёт любви под стать величине своего внутреннего мира.

«Да это же недолго — зарегистрироваться, — сказала она, устроившись на родительском диване с той особой уверенностью человека, только что открывшего нечто, по его убеждению, способное изменить твою жизнь. — Не успеешь оглянуться, как всё готово».

«Я правда не из тех, кто сидит на сайтах знакомств, — ответила я. — Мне кажется, там почти все ненастоящие».

«Я тоже так думала. Пока не нашла своего». Она имела в виду Майка, американца, в которого влюблялась со скоростью международных часовых поясов. «Просто попробуй, ну?»

И я попробовала. Зарегистрировалась. Загрузила несколько фотографий — немного, потому что я никогда не была из тех, кто тратит уйму времени на конструирование публичного «я», — и ответила на анкету психологической совместимости с мягким скепсисом человека, не ждущего, что компьютер чем-то его удивит в выводах о его собственном характере.

Я удивилась.

За несколько дней пришли сообщения сразу с нескольких сторон. Итальянец. Бразилец. Норвежец. Каждый был по-своему интересен, но норвежец отличался так, что я не сразу смогла бы объяснить. Он не был самым эффектным в привычном смысле. Не писал самых витиеватых посланий. Но писал постоянно — по утрам, перед сменами на платформе, в перерывы, поздно ночью, когда в Норвегии было темно, а в Баку тихо. Он вплетал в разговор крошечные наблюдения: мысль о том, какой был свет в конкретный вторник; самоиронию по поводу собственной неловкости в сети; внезапную, без всякой подготовки, искреннюю нежность.

Его звали Оскар. Он был из маленького приморского городка на западном побережье Норвегии. Работал на нефтяных платформах — а значит, две недели был в отъезде и две дома, в чередующемся ритме, что определял весь уклад его жизни. Судя по фотографиям, высокий. С мальчишеской, чуть кривоватой улыбкой. Он задавал вопросы — настоящие вопросы, из тех, что выдают: спрашивающий действительно думал над предметом, прежде чем о нём заговорить.

В новогоднюю ночь 2012 года, посреди одной из наших ночных бесед, он спросил меня о том, что заставило меня замолчать.

«Ты вообще хочешь когда-нибудь детей?»

Это был необычный поворот. Мы говорили о политике, о путешествиях, о подробностях наших городов. Но в прямоте вопроса — в самом том, что он его задал, без обычных оговорок, — было что-то, что заставило меня ответить честно.

«Да, конечно. Мы ведь все этого хотим, разве нет?»

«Некоторые — нет, — сказал он. — Так сколько детей ты бы хотела?»

«Я хотела бы дочку, — ответила я. — И, может, ещё. Но сначала я бы хотела знать, что думает мой партнёр».

Повисла пауза. А потом он сказал то, что осталось со мной на годы, то, к чему я часто возвращалась в трудные годы, что последовали:

«Я думаю, у ребёнка должно быть двое родителей. У ребёнка — сто процентов прав. У матери и у отца — по сто процентов обязанностей».

Я сидела с этой фразой в тишине родительской бакинской квартиры. За окном Новый год приходил в город вспышками света и шума. А внутри я думала о человеке, которого никогда не видела, но который понимал — без всяких моих объяснений, — что родительство есть вопрос не прав, а ответственности.

В те первые месяцы он казался человеком, который говорит то, что думает.

Мне предстояли годы, чтобы выучить разницу между «казаться» и «быть».

Заочное ухаживание

Что я знаю теперь об устройстве сетевых романов — так это что они создают особенно соблазнительную иллюзию: иллюзию глубины без контекста. Ты знаешь, что человек говорит. Знаешь, как он складывает мысли на письме. Знаешь его взгляды на то, что он успел обдумать. И не знаешь ничего о том, каков он, когда устал, смущён, испуган или неправ и не способен это признать. Ничего о том, как он обращается с теми, кого ему больше незачем впечатлять.

Я знала Оскара как собрание ночных сообщений, и сообщения эти были прекрасны. Он был вдумчив, остроумен и искренне любопытен к моей жизни — так, что это казалось обращённым именно ко мне, а не к кому угодно. Он запоминал детали, которые я упоминала однажды и считала забытыми. Когда я описывала бакинский Старый город, его восьмивековые башни, каменные улочки, он задавал уточняющие вопросы, выдававшие, что он и вправду представил себе это место. Когда я говорила о работе, он расспрашивал с неподдельным интересом.

И ещё — а для меня это значило бесконечно много, ведь я выросла в культуре, где мужчины порой говорят о женщинах как о задачах, которые нужно решать, — он относился ко мне как к равной. Не как к проекту, не как к вызову, не как к добыче, которую нужно завоевать. Он говорил со мной так, как говорят с тем, чьи ум и суждения уважают.

Это не вызывало у меня подозрений. Возможно, должно было. Не потому, что он был неискренен — не думаю, что в те первые месяцы он лгал. А потому, что версия человека, которую он являет на письме, — не весь человек, и тот Оскар, что приходил ко мне на экран в полночь, был отретуширован расстоянием и желанием, а настоящий мужчина за этими словами был сложнее, чем я понимала.

Тогда я этого ещё не знала.

Мне было двадцать три, и я впервые влюблялась в конкретную, телесную реальность другого человека. Не просто в слова на экране, а в саму идею его — высокого, светловолосого, принадлежащего стране, которую я связывала с фьордами, с равенством, с чистым северным холодом Атлантики. Я строила будущее в воображении, и будущее было очень красивым, и я держалась за него ещё долго после того, как стоило отпустить.

Исследования межкультурных сетевых отношений неизменно описывают явление, называемое «инфляцией идеализации»: когнитивную склонность достраивать неизвестные черты партнёра положительными допущениями, когда общение идёт на расстоянии. Пропасть между

воображаемым человеком и настоящим становится видна лишь при длительной близости — а к тому времени, когда она проступает, вложенное в отношения часто уже слишком велико, чтобы легко от них отказаться. Я привожу это не в оправдание, а как контекст: женщина, любившая Оскара через часовые пояса, не была глупа. Она вела себя так, как ведут себя люди, когда чего-то очень сильно хотят.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Турция и рождение любви

Аланья, Турция — лето 2013 года

Ресторан на крыше в Аланье, с видом на Средиземное море. Вечерний свет густ и янтарен. Норвежец в костюме — пожалуй, чересчур официально для этого места — протягивает руку.

Впервые мы встретились лично в Турции летом 2013-го, и Оскар оказался почти в точности таким, как обещали фотографии: высокий, светловолосый, с чистой северной красотой побережья и улыбкой, мальчишеской настолько, что начинаешь доверять быстрее, чем разумно.

Он забронировал ресторан ещё до приезда — выбрал, как он сказал, специально, ради карты десертов. Он был в костюме. Он пришёл вовремя. Он протянул руку так, будто встреча со мной — приятная формальность, которую он рад исполнить.

«Наконец-то вижу прекрасное лицо, что скрывалось за камерой», — сказал он.

«Оно вовсе не скрывалось», — ответила я.

«Вблизи оно ещё прекраснее».

Я надела платье с открытой спиной и вырезом, обнажившим ключицы. Уложила волосы иначе. Я потратила на свою внешность больше времени, чем обычно себе признавала. Мне хотелось выглядеть лучшей версией себя — и по тому, как он смотрел на меня через стол, по этой его привычке вдруг замирать, вглядываться в моё лицо, словно читая текст, который не вполне может перевести, я понимала, что мне это удалось.

Мы говорили часами. О наших семьях, городах, мечтах, страхах. Он рассказывал, как рос в маленьком приморском городке, где все знают всех, где зимы тянутся слишком долго, а лето так ярко, что кажется разрешением жить. Я рассказывала о Баку, об особом качестве летних вечеров на Каспии, о своей семье, об учёбе и о странной красоте страны, одновременно древней и заново себя изобретающей.

У него было быстрое, ненарочитое чувство юмора — то, что рождается из подлинной наблюдательности, а не из желания казаться умным. Он смеялся над моими шутками настоящим смехом, тем удивлённым, что означает: попадание точно в цель. И ещё у него была эта черта — когда я говорила нечто, что его по-настоящему задевало, он замирал и смотрел на меня, и я понимала: он откладывает этот миг в памяти.

После ужина мы шли вдоль берега. Средиземное море было тёмным, на холмах за нашими спинами зажигались огни города. Он потянулся и взял меня за руку, и это вышло совершенно естественно — как бывают естественны некоторые вещи, когда время выбрано безошибочно.

Та неделя в Турции была, я думаю, самым чистым временем, что у нас вообще было. Там нам нечем было управлять — ни семейными ожиданиями, ни культурными переговорами, ни историей разочарований. У нас было только настоящее — тёплое, полное возможностей и всецело наше.

Он был хорошим спутником. По-настоящему, неожиданно хорошим. Не из тех, кто играет в обаяние, выучив его как стратегию выживания, а из тех, чьё обаяние подлинно, — оно рождается у того, кому действительно любопытен мир и конкретный человек напротив.

Кажется, я влюбилась в него в Турции. Кажется, иначе и быть не могло.

Чего я не могла разглядеть, сидя за тем столиком на крыше, под средиземноморским воздухом с воды, под взглядом его бледных, внимательных глаз, — что влюблялась я не вполне в Оскара. Я влюблялась в расстояние, в свет и в свободу быть в месте, что не принадлежало ни ему, ни мне, где можно было стать кем угодно.

Я влюблялась в возможность.

На одной возможности жизнь не построить. Но какое-то время на ней держаться можно. А «какое-то время» — это долго, когда тебе двадцать три, свет на воде безупречен, и кто-то держит тебя за руку.

Грузия, Азербайджан, Норвегия: продвижение

После Турции мы продолжали видеться. Поездка в Грузию через два месяца, потом поезд в Баку, где он впервые познакомился с моими родителями. Мать была осторожна. Она наблюдала за ним с тем ровным, несуетливым вниманием женщины, всю жизнь читавшей людей, и потом сказала мне, что он кажется искренним, но её тревожит расстояние. Отец был теплее, радушнее. Он угощал Оскара чаем и расспрашивал о Норвегии с неподдельным любопытством.

С моими родителями Оскар держался хорошо. Уважительно. Чуть формально, на норвежский лад, — отец находил это достоинством, а мать — некоторой холодностью, но усилие было, и это чего-то да стоило.

«Я хочу быть рядом с тобой в каждом путешествии, — говорил Оскар. — Я всегда буду рядом».

Порой он звучал как человек, читающий по сценарию того, кем хотел бы быть. Но я верила сценарию — потому что хотела верить и потому что промежутки между этими признаниями казались настоящими.

На то Рождество он пригласил меня в Норвегию познакомиться с семьёй. Три месяца в доме его родителей в маленьком приморском городке. Его мать — я назову её Гретой, хотя это не её имя — была приветлива той поверхностной приветливостью людей, которые уже всё про тебя решили и разыгрывают открытость, пока ты не подтвердишь их предубеждение. Она предложила, чтобы моя семья приехала на весенние праздники. Показала мне окрестности, фьорд, маленький опрятный городок.

Я приняла это за доброту. Я ошиблась жанром.

А потом была поездка в Таиланд.

Таиландское осложнение

Весной 2015-го Оскар поехал в Таиланд с братом Расмусом — как он сказал, на мотоциклетный отдых. Особой тревоги это у меня не вызвало. Мы были в серьёзных отношениях. Мы говорили о свадьбе. Я ему доверяла.

Через месяц после возвращения я узнала, что от него беременна одна женщина.

Я хочу описать, каково это было, но язык бессилён. Дело было не просто в открытии измены — хотя это была измена, и предательство ранило глубоко. Это было крушение определённой реальности, которую я два года выстраивала в голове. Я с огромной тщательностью строила будущее, дописывала детали, воображала его краски. И в одно мгновение всё сооружение обнаружило под собой опору, что не могла его удержать.

В дни, что последовали, он звонил без конца. Говорил, что не может меня потерять. Что та женщина ничего не значит. Что он совершил страшную ошибку, что не любит её, что я — единственная, кого он хочет.

«Я не думала, что ты способен так с нами поступить» — вот и всё, что я могла найти в ответ. Я повторяла это много раз. Больше у меня ничего не было.

Я взяла паузу в отношениях.

К лету 2015-го он сделал мне предложение.

Мне было двадцать пять. Я ответила «да».

Я хочу честно отчитаться за это решение, потому что в ретроспективе оно похоже на решение человека, мыслящего нетрезво, и в одном смысле так и есть. Но я ещё и мыслила с особой ясностью о том, чего хотела: я хотела того будущего, что строила. Хотела той жизни, что уже существовала — в предпросмотре — в Турции, в Грузии и в тех ночных разговорах

через часовые пояса. Я верила, что брак создаст условия, при которых эта жизнь действительно сбудется.

Я верила, что, выбрав друг друга — официально и навсегда, — мы станем теми, кем были в Турции.

Я ошибалась. Но ошибка стала видна во всей полноте лишь тогда, когда мы начали этим жить.

ПИСЬМО МОЕ МУСЫНУ

Мой милый Уильям,

Я часто думала, как объяснить тебе, почему я сказала «да».

Честный ответ: я любила твоего отца.

Не того, кем он станет под давлением настоящей жизни, — не того, кто смотрел через комнату, пока меня зашивали, не того, кто потом обратит против меня систему, а того, кто спросил меня про детей в новогоднюю ночь и не лукавил, говоря, что у ребёнка — сто процентов прав.

Тот человек существовал. Он был настоящим.

Чего я не знала тогда — что человек может держать в себе две свои версии разом: того, кем он хочет быть, и того, каков он, когда чего-то хочет.

Я полюбила это хотение. Мне следовало дождаться и узнать остальное.

Но тогда тебя бы не было.

А ты — самое важное, что когда-либо случилось со мной.

Твоя, мама 🍀

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Свадьба, которой почти не было

Баку — осень 2015 года

За два дня до свадьбы. Гостиничный номер в Баку. Мороженый торт ждёт в ресторане на другом конце города. Родственники съезжаются из дальних краёв.

Свадьбу мы наметили на осень 2015-го, и я месяцами выстраивала её во что-то, что ощущалось как официальное начало той жизни, которую я воображала.

Платье было белым и сплошь в кристаллах — из тех платьев, что заявляют: я отношусь к этому всерьёз. Я пришла со всем, что у меня есть. Я пришла. Я была готова.

Родители Оскара не приехали на свадьбу сына.

Я хочу задержаться на этом, потому что считаю это важным и потому что слишком долго отыскивала этому оправдания. Его родители — вышедшая на пенсию пара из маленького норвежского приморского городка, в добром здравии, при средствах, — не приехали на свадьбу сына. Никаких логистических причин не было. Не случилось чрезвычайного. Было, я думаю, попросту решение, что свадьба не стоит того, чтобы на ней присутствовать. Что женщина, на которой он женится, не стоит дороги.

Я это заметила. Я удержала это замечание внутри и подавала объяснения тем, кто спрашивал: им трудно путешествовать, у них прежние обязательства, дорога из Норвегии в Азербайджан непроста. Я поддерживала эти объяснения, потому что иное — признать, что на самом деле означало их отсутствие, — потребовало бы пересмотреть самое основание того, что я строила, а к этому я была не готова.

За два дня до церемонии Оскар сказал худшее, что я от него слышала.

«Я больше не хочу на тебе жениться».

Он сказал это ровно. Без предисловий. Будто это сведение, которое он только что вспомнил.

Я встала и долго смотрела на него. Город за окном готовился к празднику. Слетелись родственники. Мать три дня готовила. Ресторан был заказан. Мороженый торт — под заказ.

«Не делай этого, — сказала я. — Все уже знают, что мы женимся. Для меня это будет позором».

«Кажется, я больше не могу, Алия».

Я подумала о родителях, одоббивших этот союз вопреки сомнениям. О родственниках, что приехали. О платье в чехле. Обо всём тщательном сооружении, что я возвела, и обо всех способах, какими оно вот-вот рухнет.

«Что ж, хорошо, — сказала я. Слова шли откуда-то, что я не вполне узнавала. — Если хочешь, мы разведёмся после свадьбы. Но не оставляй меня стоять одну перед всеми. Не выставляй меня такой».

Отец поговорил с ним. Я не слышала, что между ними произошло. Знаю только, что Оскар согласился идти дальше.

Нас обвенчали в маленьком ресторане. У нас был мороженый свадебный торт. Нас сняли улыбающимися. На фотографиях мы выглядели парой, выбравшей друг друга свободно и с радостью.

Ни то ни другое не было вполне правдой.

Но я вошла в это с открытыми глазами — настолько открытыми, насколько они могли быть в двадцать пять, у влюблённой в человека, который дважды уже показал мне, каков он, когда становится трудно, и оба раза я предпочла смотреть на промежутки между его поступками, а не на сами поступки.

Это не глупость. Это нечто сложнее глупости. Это особая человеческая способность к надежде — одно из лучших наших качеств и одновременно то, что чаще всего заводит нас туда, куда не следовало бы идти.

На той же неделе — первое требование

Нас обвенчали в субботу осенью. Уже к следующей среде Оскар велел мне найти работу.

Не: давай обсудим, чем ты хотела бы заняться, когда приедешь в Норвегию. Не: нам стоит вместе придумать, как тебе устроить этот переход. А: «Просто найди любую работу, неважно за сколько. И не обязательно по твоей специальности».

У меня был диплом. У меня была профессиональная биография. Я оставила всё, что построила, чтобы поехать за ним в страну, где не знала никого и не говорила на языке.

Мы крупно поссорились. В конце концов вмешался его отец, Ханс, с разумным предложением: сначала выучить норвежский. Я согласилась. Ссора утихла.

Но образец был задан: мой голос в решениях о моей собственной жизни — необязателен. Мои нужды — отправная точка для переговоров, а не данность. То, чего хотел Оскар, было базовой линией. То, чего хотела я, было предложением, требующим его одобрения.

В те первые недели я не назвала этот образец ясно. Я ещё привыкала, ещё давала презумпцию доброй воли, ещё верила, что мы в переходном периоде, который разрешится сам, как только мы найдём свой ритм. Но образец уже был — целый, готовый, ждущий, чтобы быть разыгранным в годы, что последовали.

Я вышла замуж, начинала я понимать, не за того, кого знала через часовые пояса, а за человека, живущего в конкретном месте с конкретными людьми и конкретным представлением о том, какой должна быть жена. И эти двое мужчин были не одно и то же.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Норвегия

Хёугесунн — 2015–2016 годы

Маленький приморский город на западном побережье Норвегии. Серый свет давит на воду. Чужестранка с новой фамилией учится разбирать расписание автобусов.

Норвегия зимой — страна, к которой я была не готова.

Я, разумеется, видела фотографии. Слышала описания Оскара. Провела там три месяца прошлым Рождеством, гостя у его семьи. Но жить где-то — совсем иная наука, чем гостить, и наука, что Норвегия преподала мне зимой 2015–2016 годов, была не той, на которую я записывалась.

Город — Хёугесунн, портовый городок примерно на тридцать пять тысяч человек на побережье Ругаланна — место не из неприятных. Небольшой ухоженный центр, славная набережная, приличная инфраструктура. По норвежским меркам он ничем не примечателен; по любым другим — чист, исправен и вполне зажиточен. Но это ещё и место, что живёт допущением, будто ты знаешь, как оно устроено, — будто ты понимаешь правила, проговорённые и нет: как люди общаются, чего от тебя ждут, что допустимо и что выдаёт в тебе чужака, не сумевшего пройти необходимую притирку.

Я была чужой. На мне стояла метка.

Норвежский подход к общению нельзя назвать недружелюбным — он скорее похож на взаимное соглашение хранить достойную дистанцию, пока не сложатся условия для подлинной близости. В лучших обстоятельствах это занимает время. В моих — было почти невозможно. Я была иностранкой. Я была мусульманкой. Я была той женщиной, что появилась в жизни их коллеги, соседа или Оскара и теперь, по-видимому, стала его заботой, — а это рождало неловкость, к которой никто не знал, как подступиться.

Его семья относилась к моей вере как к причуде. Поначалу не с откровенной враждебностью — скорее с вежливым непониманием людей, столкнувшихся с чем-то вне их системы координат и ждущих, не рассосётся ли оно само. Когда я упоминала Аллаха в доме, атмосфера менялась почти неуловимо, но совершенно ясно: лёгкое напряжение, осторожное отсутствие реакции — социальный эквивалент тихо закрываемого окна.

Они были христианами в том смысле, в каком люди используют религию как идентичность, а не как благочестие: Рождество, Пасха и культурная обстановка лютеранской северной Европы, а не какая-либо живая вера. Но моя вера, каким бы ни было её содержание, была зримо чужой — вот в чём состояла настоящая проблема. Не в том, во что я верила, а в том, что моя вера выглядела иначе, чем полагалось выглядеть вере.

Я записалась на курсы норвежского. Это предложил Ханс, и предложение было разумным — единственное разумное за те первые месяцы, что я могу вспомнить без оговорок. Преподаватель была терпелива. Язык был труден так, как трудны все языки, когда учишь их, одновременно справляясь с новым браком в новой стране при тающем круге поддержки. Я продвигалась. Медленно.

Оскар отсутствовал две недели из каждых четырёх. Таков был ритм морской нефтедобычи: две недели на платформе, две дома. Когда он уезжал, я оставалась одна в городе, где почти никого не знала, учила язык, на котором ещё не могла говорить, ориентировалась в культуре, которую ещё не понимала, в доме, что ощущался как его дом во всём, что не имело отношения к записи в реестре.

Когда он был дома, становилось и лучше, и хуже разом: лучше — потому что отсутствовало одиночество; хуже — потому что брак, лишённый идеализирующего действия расстояния, обнаруживал себя как нечто, требующее постоянного управления.

Мы расходились во всём, что было важно. Как вести дом. Как относиться к его семье. Чем мне следует занимать время. Как выглядит приемлемый уровень финансовой независимости. Что на деле значит «уважение».

По всем этим вопросам у него были твёрдые мнения, и мнения его прибывали не как предложения, а как выводы. Моя точка зрения как точка зрения его не интересовала. Его интересовало моё согласие.

А я плохо умела соглашаться, когда считала его неправым. Пожалуй, это самое честное, что я могу сказать о себе в те годы: я плохо умела изображать покорность, которой не чувствовала. Я пыталась. Я понимала умом, что требуется притирка, что я приехала в его страну, в его общину и какая-то уступка необходима. Но между уступкой и стиранием есть разница, и видение нашего брака у Оскара требовало скорее второго.

Он хотел жену, которая «впишется». Я не вписывалась.

Эта динамика — когда от супруга-иностранца ждут полного растворения в культурной и семейной системе норвежского партнёра — подробно описана в исследованиях браков между иммигрантами и коренными жителями Скандинавии. Работы, в том числе Вассендена и Бергсгарда (2017), показали, что супруги иностранного происхождения в норвежских смешанных браках значительно чаще сообщают об ограничении автономии — особенно когда семья коренного супруга находится поблизости. Ожидание культурной ассимиляции редко проговаривается явно, но действует мощно — как негласное условие принадлежности. Отказ или неспособность ассимилироваться обычно трактуется не как культурное различие, а как личный изъян.

П И С Ь М О М О Е М У С Ы Н У

Мой милый Уильям,

Норвегия была самой трудной страной, какую я когда-либо пыталась понять.

Не потому, что она была жестока, — порой она бывала добра, на свой особый, сдержанный северный лад.

А потому, что правила были невидимы, и я всё нарушала их, не зная, что они есть.

Я хочу, чтобы ты знал: я старалась.

Я выучила язык. Ходила на занятия. Вступала в программы.

Я приспособливалась, приспособливалась и приспособливалась, пока уже не понимала, где же моя сердцевина.

Кажется, сердцевинкой всегда был ты.

Ещё до того, как ты появился.

Ещё когда ты был лишь возможностью, которую я несла в холодную новую страну.

Твоя,

мама



ГЛАВА ПЯТАЯ

Язык власти

Курсы норвежского языка — 2015–2016 годы

Класс в языковом центре. Двадцать человек из пятнадцати стран. Спрягаем глаголы.

Учимся тому, как страна называет мир.

Норвежский, объективно говоря, не трудный язык. Он принадлежит к германской семье. Грамматика его сравнительно снисходительна. Лексика для знающего английский имеет знакомые очертания.

Но я учила норвежский не как упражнение в лингвистике. Я учила его как акт выживания в стране, что ещё до моего приезда решила: других моих языков недостаточно.

Моей преподавательницей была терпеливая женщина лет пятидесяти по имени Ингрид, двадцать лет учившая иммигрантов говорить. Она знала своё дело. Она понимала, что урок языка — это всегда ещё и урок чего-то иного: как подать себя, как стать понятным обществу, в которое ты вошёл, как разыграть ту особую доступность, что успокаивает коренных жителей. Она преподавала норвежскую грамматику, но при этом, не говоря об этом прямо, преподавала и социальную грамматику бытия чужим в Норвегии.

Социальная грамматика такова: будь терпелив. Будь благодарен. Приспосабливайся. Не навязывай прежних своих способов быть. Пойми, что здесь всё делается так, как здесь делается, и твоя задача — это выучить, а не оспаривать.

В этой грамматике я была слаба.

Не потому, что не была благодарна, — я была благодарна за учёбу, за тихий класс, за ровное наставничество Ингрид. А потому, что каждый раз, пытаясь отложить прежние способы быть и целиком перенять норвежские, я чувствовала, как из меня вытекает нечто, чего я не могла позволить себе лишиться.

Другие ученики были из Сирии, Сомали, Пакистана и с Филиппин, и каждый вёл те же переговоры. Я наблюдала за ними. Видела, как одни учились переводить себя целиком — становиться в норвежском классе всецело той версией, что будет принята. И видела, как другие, подобно мне, удерживали кусочек себя, прятали его там, куда перевод не достаёт.

Этот удержанный кусочек не был вызовом. Не был высокомерием. Это было самосохранение. Понимание, что, отдав всё, чем ты был, ты, быть может, придёшь к беглости, но не придёшь к себе.

Мне было двадцать шесть в том языковом классе — недавно замужем, только что приехала и учу норвежский в том самом городе, где семья мужа уже решила, что я — проблема. Каждое верно проспрягнутое слово было маленькой победой над допущением, что я не выучусь. Каждая фраза, что я связывала в супермаркете, в кабинете врача или в семейной конторе, была отказом от той жалости, которую я порой читала в чужих глазах.

Но языковой барьер оставался. Он оставался там, где это важнее всего, — в правовых и казённых пространствах, где писались документы, где подавались заключения, где принимались решения. В этих пространствах моего норвежского не хватало. Его никогда не хватало. И сам факт его недостаточности использовали против меня — последовательно и системно, способами, которым я не могла в полной мере противостоять, потому что не всегда знала, что именно говорится.

Что теряется при переводе

Есть особая разновидность бессилия — не понимать до конца язык системы, которая тобой управляет.

Это не бессилие невежества — я не была невежественна. Я понимала — через пересказы Оскара, через свой несовершенный норвежский и через общий облик происходящего вокруг

— крупные черты своего положения. Но крупных черт мало, когда решается деталь — сколько часов тебе дозволено провести с собственным ребёнком.

Документ, который я подписала в феврале 2016 года, и был такой деталью. Очень точной и судьбоносной деталью, написанной на языке, который я понимала несовершенно, изложенной мне в пересказе женщиной, чья работа состояла в том, чтобы получить мою подпись, — без независимого переводчика и без адвоката рядом.

С тех пор я много раз читала этот документ в переводе. Он говорит не то, что мне сказали.

Это не ошибка перевода. Ошибки перевода случаются. То, что произошло здесь, ошибкой не было. Произошло то, что языковой барьер создал условия, при которых женщине можно сказать одно, а подписать она может другое, — и разрыв между тем, что она думала, будто подписывает, и тем, что подписала на деле, станет вполне очевиден лишь после того, как подпись обретёт юридическую силу.

Языковой барьер не был случайностью в том, что со мной случилось. Он был структурным. Он был механизмом, через который управлялись несколько самых судьбоносных мгновений моего дела. Он был водой, в которой плавала вся ситуация.

Когда я говорю, что норвежская система меня подвела, я отчасти говорю вот что: норвежский язык — его сложность, его конкретность, его недоступность для того, кто учит его на бегу, в браке, что уже распадается, — был обращён против меня как оружие. Возможно, без умысла. Но действительно.

Европейская комиссия по правам человека определила языковые барьеры в семейно-правовых процессах как особую и системную уязвимость в делах с участием родителей, не владеющих языком как родным. Рекомендация Совета Европы CM/Rec(2019)1 прямо требует от государств-членов обеспечивать наличие квалифицированных переводчиков на всех стадиях семейно-правовых разбирательств, затрагивающих родительские права, и прямо запрещает использовать в качестве переводчиков членов семьи или причастных к делу социальных работников. Норвегия приняла эту рекомендацию. Её применение на практике остаётся непоследовательным — особенно в небольших судах за пределами крупных городов.

Словарь утраты

Пока я ходила на курсы языка, я невольно осваивала и второй словарь — словарь судебных тяжб, опеки и семейного права, который, как я думала, мне никогда не понадобится.

Я учила слова вроде *barnevernstjenesten* — служба защиты детей. *Samværsrett* — право на общение. *Foreldreansvaret* — родительская ответственность. *Eneansvar* — единоличная ответственность. Эти слова были в документах. Были в письмах из барневерна. Их произносили приходившие ко мне сотрудники.

Я учила и норвежский социальный словарь стыда: ту особую норвежскую тишину, что повисает, когда кто-то повёл себя сочтённым неподобающим образом; то, как комнаты слегка холодели, стоило мне повысить голос; то, как «трудная» было словом, которое люди выбирали, когда имели в виду «иностранка», «непокорная» или «недостаточно норвежка, чтобы понимать правила».

Язык не нейтрален. Каждый язык несёт внутри свою культуру. Норвежский несёт норвежские допущения о том, как выглядит норма, как выглядит подходящее поведение, как выглядит достойная мать. Меня испытывали, постоянно, на соответствие этим допущениям — и испытание велось на языке, в который сами эти допущения и были вшиты.

Нельзя оспорить культурные допущения на языке, который их в себе содержит.

Это не призыв к отчаянию. Это описание структурного положения. Выход из него — не в том, чтобы овладеть языком в совершенстве (родным норвежский мне уже не станет), а в том, чтобы сделать это структурное положение видимым. Назвать его. Сказать ясно и на любом языке, что достигает тех, кто способен это изменить: работа этой системы держится

на языковом бесправии тех, кто наиболее перед ней уязвим. Это не побочный эффект. Это устройство.

ПИСЬМО МОЕМУ СЫНУ

Мой милый Уильям,

*Я учила норвежский в классе с двадцатью людьми из пятнадцати стран.
Мы сидели вместе, спрягали глаголы и пытались понять
грамматику языка, что теперь отвечал за наше будущее.*

*К концу я знала его лучше, чем показывала.
Но одно слово я придержала.
Слово «дом».
По-норвежски — hjet.
Я отказывалась применять его к Норвегии.*

*Дом — это Баку. Дом — это кухня моей матери.
Дом — там, где люди знают моё имя на моём родном языке.
А теперь дом — везде, где ты.*

*Твоя,
мама
☺*

ЧАСТЬ II

Материнство

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Уильям

Хёугесунн — весна–осень 2015 года

Маленькая ванная комната в норвежской квартире. Тест на беременность. Та особая тишина, что наступает вслед за результатом, который ты уже предчувствовала.

Беременность удивила меня своей радостью.

Я не была счастлива в браке. Я знала это так, как знаешь нечто прежде, чем готова сказать вслух, — оно жило в моём теле раньше, чем достигло слов. Ссоры были слишком частыми. Тишина была не той тишиной. Та версия наших отношений, что существовала через часовые пояса, была недоступна в ежедневной близости, и я уже месяцами тихо оплакивала её отсутствие, не признаваясь себе, что именно этим и занята.

Но когда я узнала, что беременна, когда тест подтвердил то, что моё тело уже начало понимать, что-то сдвинулось.

Я хотела этого ребёнка с уверенностью, что рассекала всё остальное. Не смутно, не «когда-нибудь», не отвлечённо, а с той конкретной и абсолютной уверенностью человека, которому только что показали то, чего он ждал.

Реакцией Оскара было молчание. Не тёплое молчание мужчины, вбирающего радость, — а закрытое, отступающее. Он смотрел на результат теста. Он не заговорил. Не взял меня за руку. Не сказал ничего, что я могла бы потом вспомнить как доказательство, что он был рад.

Он вернул мне листок.

На следующей неделе он уехал на работу.

В его отлучки — долгие, две недели из каждых четырёх — я оставалась наедине с растущим фактом своего тела. Это было не вполне неприятно. В отлучках Оскара было парадоксальное чувство облегчения: дом был мой, ритмы были мои, вечера были долгими и тихими так, что позволяли думать. Я ела, что хотела. Звонила матери. Читала. Гуляла. Тихим голосом говорила с малышом по-азербайджански, рассказывая ему о городе, по которому мы шли вдвоём, называя то, что видела.

Сама беременность протекала по большей части гладко, хоть и одиноко. По утрам — тошнота, в любой час — невероятный аппетит. Тело менялось так, что я следила за этим с изумлённым вниманием: медленное появление живота, которого я не узнавала как свой; ощущение движения изнутри — самое чуждое и самое глубокое телесное переживание, какое я знала.

Мать звонила часто. Она была вне себя от счастья. Она давала советы с уверенной властью той, что была беременна дважды и оба раза выжила, и некоторые её советы расходились с тем, что писали норвежские брошюры о здоровье. Это превратилось в тлеющее поле боя. Норвежский способ. Способ моей матери. Будто верным мог быть лишь один из них. Будто знание матери, накопленное за десятилетия и в иной культуре, заведомо ниже брошюры.

Я следовала наставлениям матери. Следовала своим инстинктам. И то и другое было старше и мудрее любой брошюры.

Я готовила комнату. Покупала крошечную одежду. Воображала того, кто её заполнит.

Когда Оскар бывал дома, он на протяжении всей беременности регулярно требовал близости, порой настаивая даже тогда, когда мне было больно или я была измотана. Он говорил, что это облегчит роды. Никакого медицинского основания этому я не нашла. Но он был настойчив, как мужчина, который решил, чего хочет, и относится к возражению как к препятствию, а не к сведениям. В те месяцы я была недостаточно сильна — или, может быть, ещё недостаточно ясно видела происходящее, — чтобы отказывать с той твёрдостью, какой научусь позже.

Он уезжал. Возвращался. Он был телесно присутствующим в доме и совершенно отсутствующим во всех прочих смыслах.

Я говорила себе, что всё переменится, когда родится малыш.

Я говорила себе это, потому что мне нужно было во что-то верить. А малыш — настоящий, уже шевелящийся, уже названный на моём тайном языке (мой маленький пират, звала я его, сама не знаю почему) — был лучшим, во что я могла верить.

Узи

Двадцать восьмого ноября, почти на тридцать шестой неделе, мы поехали в больницу Хёугесунна на УЗИ. Основной осмотр прошёл буднично; врач была деловита и обстоятельна, изображение на экране показывало малыша в хорошем положении, здорового, по всей видимости готового. Меня отправили одну в другой кабинет на дополнительную проверку.

Акушерка, встретившая меня в том кабинете, всем своим обращением с первой же секунды давала понять: это задача, которую надо выполнить, а не пациентка, о которой надо заботиться. Она говорила по телефону. И не прекращала. Натянула перчатки, не опуская трубки. Провела осмотр — внутренний, ручной, — не прерывая разговора по-норвежски.

Мне было больно. Я сказала об этом. Она продолжила.

Когда всё закончилось — после того как она несколько минут держала пальцы внутри меня, болтая, как я поняла по обращениям, со своим партнёром, — она сказала, что всё в норме, и выпроводила меня.

Потом я два дня кровила. Мне сказали, что это нормально. Сказали, что это пустяк по сравнению с тем, что переживают иные женщины. Сказали подождать, и всё пройдёт.

Я ждала. Но не прошло. Сутки текла кровь и на следующий день воды отошли.

Но в том смотровом кабинете установилось нечто, чему у меня тогда не было слов: я была телом в системе, а не человеком с правами. Моя боль была побочным эффектом, а не поводом для тревоги. Моё неудобство было фактом, которым надо управлять, а не сигналом, к которому надо прислушаться.

Эта рамка — пациент-как-тело, пациент-как-проблема — резко усилится в дни, что последуют.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Больница в Хёугесунне

1–6 декабря 2015 года

Больничная палата. Остывшая ванна. Смех акушерки. То самое время, что остаётся с тобой: час ночи.

Осмотр накануне

Всё началось за день до родов. Тридцатого ноября, на тридцать восьмой неделе, мы пришли на плановое УЗИ. На экране всё было в порядке. Потом врач предложила проверить, насколько я раскрылась. Я об этом читала; я знала, что для этого есть инструменты, и ждала именно их. Вместо этого она осмотрела меня рукой — без предупреждения и, как я это пережила, без моего согласия. Боль была сильной, а потом началось кровотечение. Всё это время она говорила с Оскаром по-норвежски над моим телом, на языке, которого я ещё не понимала, и я лежала, не находя ни единого слова, чтобы попросить её остановиться.

В тот вечер мы позвонили в больницу — сообщить о кровотечении. Нам сказали, что это нормально, что большинство женщин кровят после такого осмотра и что приезжать не надо — надо остаться дома и ждать. Я кровила всю ночь и весь следующий день. Я записываю это не затем, чтобы заново судиться с медицинской картой, которую мне всё равно никогда не дадут увидеть, а потому, что здесь начинается образец: чужестранка в боли, через голову которой говорят на языке, которого она не понимает, которой твердят, что тревога её собственного тела — пустяк.

Воды отошли первого декабря, в половине третьего дня.

Оскар ещё был на работе. Он вернулся к трём. Мы проехали сорок километров до больницы и прибыли около половины пятого. Подтекало явно. Подтекало уже два часа. Стандартная медицинская рекомендация при разрыве плодного пузыря — госпитализация для наблюдения из-за риска инфекции и для матери, и для ребёнка. Стандартной медицинской рекомендации не случилось.

В приёмной женщина, которую они называли старшей по этажу, привезла меня в кресле-каталке. Меня отвели в кабинет. Воды продолжали отходить, стекая ниже колен. В коридоре я видела пустые палаты.

После анализов крови, расспросов и того, что показалось мне часом возни, мне сообщили, что свободных палат нет и что мне следует поехать домой и вернуться к восьми утра следующего дня.

«Разве меня не должны положить под наблюдение? — спросила я. — У меня отошли воды. Разве нет риска инфекции?»

«Схватки ещё недостаточно сильные, — сказала она. — С ребёнком всё хорошо. Поезжайте домой. Возвращайтесь завтра к восьми».

Мы поехали домой. Я набрала тёплую ванну. Я была напугана и зла так, как бываешь напугана и зла, когда знаешь, что что-то не так, а никто из облечённых властью этого не признаёт. Я инстинктивно потянулась к бокалу красного вина — искала, чем унять натянутые нервы. Оскар в ярости выхватил его у меня из руки.

«В твоём положении? Ты хочешь, чтобы ребёнок был умственно неполноценным?»

В этом он был прав. Я знала это, мне было стыдно за порыв, и я же злилась на него за манеру быть правым — за презрение в ней, за мгновенный скачок к худшему. Но вина я не выпила. Он вылил его. Вместо этого я приняла тёплую ванну.

Приехал его отец, Ханс, и настоял, чтобы мы вернулись в больницу. Поначалу я отказывалась. У меня не было веры в учреждение, только что отправившее меня домой с отошедшими водами и без палаты. Я сказала, что рожу дома.

Они пригрозили последствиями, если я не поеду. Его семья, Оскар, его отец — они выдвигали угрозы с коллективной властью людей, у которых перевес. Меня перевесили голосами. Мы вернулись.

Роды

То, что произошло в той больничной палате, я годами старалась не описывать слишком подробно, потому что точность требует возвращения туда, а это чего-то стоит. Но я пишу эту книгу, чтобы сказать правду, — и я её скажу.

Меня поместили в тёплую ванну под надзором акушерки. За водой не следили. Она остыла. Я дрожала. Я жаловалась не раз. Ничего не делалось. Акушерка была занята другими разговорами — с медсёстрами, иногда с Оскаром, который стоял с краю палаты и наблюдал за всем с отстранённым вниманием человека, смотрящего документальный фильм, к которому имеет некоторый профессиональный интерес.

Мне было больно. Мне было холодно. Я всё сильнее злилась так, что злость становилась неотличима от отчаяния.

В конце концов меня вынули из ванны, уложили на кровать, и роды принимала акушерка, относившаяся к процессу как к технической задаче, которую надо решить. В какой-то момент она применила руки так, что это вызвало резкую, разрывающую боль, от которой я вскрикнула. Позже, когда я спросила, что произошло, мне ответили, что разрывы при родах — это нормально и что у многих женщин травмы куда тяжелее моей. У меня был один шов. По их словам, почти незаметный.

Мне он не был незаметен. Не был незаметен моему телу, которое потом кровило полгода, которому было больно сидеть, ходить, пользоваться туалетом, носить собственного ребёнка. Не был незаметен нервной ткани тазового дна, повреждённой так, что ни один хирург в Норвегии не соглашался это исправить, ведь травма моя была, сравнительно, ничтожной.

В час ночи второго декабря родился мой сын.

На правой стороне головы у него была большая кровоподтёчная припухлость — след давления, приложенного при родах. Он лежал в луже крови. Он был хрупким, кричащим и совершенно, сокрушительно настоящим.

Его наскоро обтёрли. Вложили мне в руки.

«Покормите его грудью сейчас, — сказала акушерка. — А мы вас зашьём».

«Я бы предпочла, чтобы сначала зашили», — сказала я.

Меня зашивали без обезболивания. Две-три минуты ручного наложения швов при полной чувствительности к боли. Я держала сына и не кричала, потому что крик испугал бы его, а напугать его было единственным, чего я не желала.

Когда всё закончилось, я прижала его к груди. Он повернул лицо ко мне. Он издал звук, не вполне похожий на плач, — что-то мягче и неувереннее. Он прильнул к моей коже с той инстинктивной тягой, с какой нечто, всегда двигавшееся к месту, которому принадлежит, наконец его находит.

Я долго смотрела на него в тишине той палаты.

«Мой маленький пират», — сказала я.

Он был самым прекрасным, что я когда-либо видела. Самым важным, что я когда-либо сделала. И я знала — с абсолютной ясностью человека, только что постигшего нечто основополагающее, — что сделаю что угодно, что угодно, лишь бы защитить его.

Я ещё не знала, чего это будет стоить.

Что отняли роды

Телесные последствия моих родов были реальны, длительны и задокументированы. Полгода после рождения Уильяма я кровила непрерывно. Мне было больно, когда я сидела, ходила, пыталась выполнить любое простое физическое действие. Нервная и мышечная ткань тазового

дна была повреждена так, что осматривавшие меня врачи это признавали, но отказывались исправлять хирургически.

«У вас один шов, почти незаметный, — сказал мне врач в государственной клинике. — У многих женщин после родов по несколько швов и травм. Это нормально. Дайте этому время зажить».

«И о каком времени речь?»

«Точно сказать не можем. Несколько месяцев, возможно, до года».

Год. Двенадцать месяцев кровотечения, боли и ограниченной подвижности — и одновременно уход за новорождённым в чужой стране, с регулярно уезжающим мужем и свёкрами, решившими, что я — проблема.

В конце концов я сделала исправляющую операцию за границей, потому что в норвежской частной системе это было слишком дорого, а государственная отказалась меня лечить. Операция помогла.

Но полгода между родами и операцией были месяцами, в которые я не могла как следует заботиться о сыне, не могла заниматься спортом, не могла физически быть той матерью, какой хотела, — и в которые каждое моё ограничение наблюдалось, документировалось и подшивалось как доказательство моей несостоятельности.

Опыт болезненных, инвазивных дородовых и родовых осмотров, проводимых без должного обезболивания, объяснения или согласия, не уникален для иностранных пациенток в Норвегии. Однако исследования Викберг и Бундас (2010) и последующие работы Норвежского центра здоровья мигрантов и меньшинств задокументировали значительно более высокий уровень сообщаемой родовой травмы среди женщин-иммигранток в норвежских больницах. Сочетание языковых барьеров, культурной чуждости и институционального неравенства власти создаёт условия, при которых обычные стандарты ухода за пациентом часто не соблюдаются. Пациентка не умеет действительно пожаловаться; учреждение не регистрирует, что что-то пошло не так.

Заключение, с которого всё началось

Через четыре дня после рождения Уильяма, шестого декабря 2015 года, педиатр больницы — врач, которую я называю доктор Фрост, — направила в службу защиты детей официальное сообщение о беспокойстве, как того требует Закон о медицинском персонале. Я долго его не видела. А когда наконец увидела, поняла: всё, что было потом, — надзор, утрата опеки, изгнание — выросло из этой одной страницы. Что в этом сообщении говорилось на самом деле и что я в действительности сделала, чтобы его вызвать, я изложу в следующей главе, потому что это заслуживает медленного чтения. Здесь же я хочу лишь отметить место, где всё началось, и назвать ту одну вещь, от которой у меня до сих пор перехватывает дыхание.

И есть одна деталь, которую я хочу подчеркнуть, потому что она показывает, как тонко было основание. Утверждение о моём душевном состоянии опиралось не только на то, что врач видела за четыре дня в роддоме. В нём приводился дедушка ребёнка — отец Оскара — как человек, очень обеспокоенный моим психическим здоровьем, и записывалось его заявление, будто тревожные симптомы были ещё до беременности. Человек, который вскоре станет ходить за мной из комнаты в комнату в собственном доме, с самого первого документа помогал писать официальную версию моего рассудка. Обида деда, занесённая в графу клинической тревоги, стала семенем государственного дела против матери.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Первое дело

4–10 декабря 2015 года

Больничная палата. Лаборант с длинными щегольскими усами. Шприц. Совсем маленькая ручка.

Через четыре дня после рождения Уильяма меня попросили снова привезти его в больницу на анализ билирубина.

Это рутина. Анализ на билирубин выявляет неонатальную желтуху — частое и обычно безобидное состояние у новорождённых. Против самого анализа я не возражала. Я возражала против количества забираемой крови и против того, как проводилась процедура.

Лаборантом был немолодой мужчина, по виду из Южной Азии, — по табличке с именем я прочла, что это господин Сингх, — и он набирал кровь у моего четырёхдневного сына в количестве, которое меня встревожило. Он набирал и набирал. Шприц наполнялся. Я смотрела, и мне становилось страшно.

«Сколько же крови вам нужно взять?» — спросила я.

«Около четырёхсот микролитров», — ответил он.

В тот миг я не знала стандартного объёма, нужного для анализа на билирубин. Позже я выяснила: около семидесяти микролитров. В некоторых лабораториях хватает нескольких капель из пятки. Четыреста микролитров — в пять-шесть раз больше стандартной нормы для четырёхдневного младенца.

Но тогда я этого ещё не знала. Я знала лишь то, что видела: у моего совсем маленького сына берут очень много крови. Я задавала вопросы. Выражала тревогу. Мне отвечали, что это рутина.

В тот вечер из больницы позвонили и попросили вернуться на следующий день для дополнительных анализов. Результаты, сказали они, отклоняются от нормы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.